

НАДЕЖДА ЧАРОДЕЙСКАЯ



ЖЕНА ПЕПЛА

ТЁМНАЯ РОМАНТИКА



Надежда Чародейская

Жена пепла

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Жена пепла / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Долг матери Вероника платит сама: раз в девять лет каждая пограничная деревня отдаёт пику жену. Не жертву — жену. Лорд Смолиного пика — тихий усталый человек в тёмном сюртуке, который помнит, что её мать просила жарить хлеб дольше. Три правила дома, одна обещанная милость: «Я не трону тебя, пока огонь не исцелён». Только долг — не горе и не гора. За линией огневидов — мать, дочь — охотится Орден, который ест тех, кто видит нити в душах. И контракт, подписанный на пике, становится последним щитом. Цепь пепла в его венах. Белая нить, которая — не её. Суд, который видит. Муж, который девять лет не называл имя, — и ночь, когда он его назвал. Тёмная романтика о браке по договору, драконе в лице усталого человека и жене, которая научилась ткать не ткань, а любовь.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пятая	5
Глава 2. Условия	8
Глава 3. Чернота	11
Глава 4. Печальница	13
Глава 5. Четыре жены	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Жена пепла

Глава 1. Пятая

Вероника была единственной, кто не побежал.

Свадебный обоз поехал по Смолиной дороге на рассвете, и Попово вышло на обочину от начала до конца — но никто не смотрел. Даже Мила. Сестра стояла лицом к столбу, и вся деревня, казалось, отвернулась разом, будто кто-то дал знак: не смотрите, не смотрите, а то он и вас заметит.

Она понимала: боялись не её. Боялись горы.

Девять лет назад лорд Смолиного пика был сослан с двора, и с тех пор зольный обычай не отпускал пограничные деревни: каждая деревня, раз в девять лет, отдаёт пику жену. Не жертву — жену. Такого слова в Попове почти не употребляли, говорили «печальница», и каждый понимал разницу. Жена может уйти. Печальница — нет: не платит её род.

Контракт лежал у Вероники на коленях, под клеёнкой, три листа плотной бумаги. Она читала его по дороге четвёртый раз и каждый раз намеренно не замечала число: девять лет.

— Мать оставила долг, — сказала она старосте, когда тот приехал в избу с запечатанной склянкой. — Дочь платит. Я.

Староста долго смотрел на неё, и в этом взгляде было что-то такое, что она предпочла не расшифровывать. Потом староста подписал ведомость, вздохнул — по-настоящему, в долг, как будто за неё, — и сказал:

— Младшую, может, и отпустил бы. А ты... ты сама сказала, Верочка. Дочь платит.

Младшую. Милу, семнадцать лет, с косой, которую ещё не заплетли в невесту. Вероника запомнила это на всю дорогу, и оно грело лучше шубы.

• • •

Гора оказалась ближе, чем казалось из долины. Дорога кончилась у ворот — и не кончилась: за воротами шли ступени, серые, влажные, с выбитыми на каменных боках знаками, которые она не узнала. Дым поднимался изнутри скалы, густой, без запаха дров, и от него холодило затылок.

У последней ступени её ждал человек.

Старый, худой, в чёрном, как у попов, но без креста — вместо него на груди вышитая тонкая спираль. Он не поклонился и не перекрестился. Он сказал:

— Меня зовут Ильич. Я здесь дольше, чем твоя деревня.

— Сколько же? — не выдержала она.

— Не важно. — Ильич смотрел на неё так, как смотрят на вещи, которые ещё не сломались. — Три правила дома, и их нельзя нарушить, даже если он велит. Первое: не смотри на дым. Второе: не зажигай свечей до рассвета. Третье: не зови его имя после заката.

— Чьё имя?

— Твоего мужа. — Ильич не улыбнулся. — Иди. Он ждёт. Не опаздывай. Он не любит. Дворцовый зал стоял в полутьме.

В центре, на каменном кольце, горел огонь. Вероника посмотрела — и отвести глаза не смогла, хотя Ильич запретил. Огонь был чёрный. Он не освещал: вокруг него было темнее, чем в углах зала, и от него не шло тепла — шло что-то другое, низкое, как гул перед грозой. Сердце у неё сжалось, и в висках зазвенело то, что она носила с десяти лет и никому не показывала: нити. В чёрном пламени она увидела нити — чёрные, толстые, как дёготь, и они тянулись от огня не вверх, а *вглубь*, в стену, в скалу, и одна, самая толстая, тянулась к дальнему концу зала.

К трону. На троне сидел он.

В человеческом виде он был высок и не слишком молод, в простом тёмном сюртуке, с руками, сложенными на коленях, и седой прядью у виска. Лицо — не страшное. Хуже страшного: оно было *усталым*. Под глазами — два круга, будто он не спал годами, а на левой щеке, ниже губ, — побелевшая полоска, как будто кожу там выжгло и она так и не зажила.

Он поднял голову.

И Вероника поняла, что смотрят на неё глаза цвета углей, — не цвет: *цвет*. Угли, в которых ещё что-то не догорело.

— Деревня послала ткачиху, — сказал он. Голос был тихий, сухой, как треск дотлевающего угля.

— Деревня послала жену, — ответила она и сама удивилась: голос не дрогнул. — По зольному обычаю. Я — Вероника, дочь печальщицы. Пришла платить долг.

— Долг. — Он повторил это слово, как пробуют на вкус. — Интересная формулировка. А что я тебе должен, жена?

— Пока ничего.

Пауза была такая плотная, что, казалось, чёрный огонь за спиной у него стал гуще. Потом он чуть наклонил голову — и сказал то, от чего у неё поджилки вздрогнули:

— Ты врёшь.

Не повышая голоса. Не злясь. Уставшим, точным голосом человека, которому доложили скучную, но достоверную новость.

— Я не знаю, что ты умеешь. Но я чую огонь. — Он медленно поднялся. В темноте зал не стал светлее; стало страшнее. — А у тебя он *под кожей*. Так пахнут те, кто знает, что он умеет, и молчит.

Вероника не отступила. Никогда не отступала, даже когда было от чего.

— Я не знаю, о чём вы, — сказала она. — Я умею ткать.

— Ткать. — В его устах это слово прозвучало почти как комплимент. Он протянул руку, и с кольца на пальце — чёрного, как уголь, горячего даже на расстоянии — капля чего-то тёмного легла на пергамент. Кровь не капает так. — Читай вслух, если хочешь. Я не читаю. Мне не нужно: я помню каждую букву зольного обычая. А ты, жена, теперь помнишь его вместе со мной.

Она начала читать. Голос её был ровным, как у хоругвеносцев на похоронах:

«...и дочь печальщицы платит долг матери, и срок платы — девять лет, и по истечении срока она свободна, и... — она споткнулась, — ...и если она уйдёт прежде срока, платит её род».

— Вот это, — сказал он, — я и имел в виду, когда говорил: ты не должна уходить.

Не «я не пушу». Не «ты не уйдёшь». *Ты не должна*. Как будто она сама должна была выбрать остаться. Веронике захотелось спросить, как это — выбирать, когда цена — сестра. Но она только сложила контракт, положила его на стол перед троном и сказала:

— Я никуда не тороплюсь.

— Хорошо. — Он опустил обратно. Усталость в голосе стала глубже. — Тогда запомни моё правило, жена. Я его не нарушу. Ни через ночь, ни через год, ни через боль: я не трону тебя, пока огонь не исцелён. Это — вся милость, на которую я способен.

Вероника посмотрела на него, и впервые за весь путь ей стало по-настоящему жаль его. И она ненавидела себя за это.

Ильич появился в дверях, когда огонь в камне погас — не догорел, а *погас*, как свечу, — и в зале стала настоящая темнота. Камергер провёл её к её покою — комната была не маленькой, постель застлана, на столе хлеб, сыр, кружка молока и маленькая свеча. Свечи Ильич не дал.

— Третье правило, — напомнил он у порога. — Не зови его имя после заката. Он... слушает. И последнее. — Старик остановился. В темноте его глаза были просто тёмными ямками. — Ни одна из четырёх жён до тебя не продержалась до конца. Не потому что он их... нет. —

Он махнул рукой, и жест этот был похож на отбивание назойливой мухи. — Потому что они *узнали*. Узнали, и ушли. Не спрашивай, что именно узнали. Ты не узнаешь.

Дверь закрылась.

Вероника долго сидела на постели, не зажигая свечу — из послушания, из любопытства, из того странного спокойствия, которое бывает у людей, когда уже всё случилось. За стеной, в камне, в скале, гуляло. Низко, как перед грозой. И с каждым ударом гула её нити подмигивали, будто глаза в темноте: нить за нитью, всё ближе, всё отчётливее.

А потом стена вздрогнула.

Не сильно — трещина в камне, и в трещину на миг просочился чёрный дым, и Вероника, не помня, как, вытянула руки, потому что нити *рвались*, и она видела — видела, как видит только огневид, — нити его души. Чёрные, толстые, в узлах, как старое верёвочное плетение. И среди них — одна. Белая. Тонкая, как паутинка, живая, и по ней шёл свет, такой тихий, что, кажется, её видела только она, одна.

Нить ребёнка.

Кто-то, кого он любил, был в нём. Внутри его чёрной души — белая нить, и она гасла.

За стеной хрустнуло камнем, гул оборвался, и в тишину вошёл его голос. Тихий. Рядом с дверью. Будто он всегда стоял там.

— Я говорил не смотреть на дым, жена.

Пауза.

— ...Но ты же посмотрела.

Глава 2. Условия

Утро пришло без свечей.

Вероника проснулась, когда в окно уже лился серый, густой, как молоко, свет. В комнате пахло камнем и чем-то сладковатым — она так и не определила, чем: может, горькой смолой, может, просто тленом. На столе стояла та же кружка с молоком, и она не тронула её.

Не потому что не хотелось. Потому что вчерашний сыр и вчерашний хлеб — это было уже его хлеб и его сыр, и у неё в горле стояло комом от одной только этой мысли.

В дверь постучали. Без разрешения.

Ильич вошёл с подносом и бумагой — с тем самым ведомостным пергаментом, из-под которого торчал уголок склянки. На подносе: хлеб (сегодня свежий), творог, мёд в крошечной горшочке.

— Твоя часть, — сказал он, не спрашивая разрешения сесть. — Утром приносишь в зал: хлеб, молоко, полотенце. Вечером то же. Раз в неделю — зольник. — Он постучал пальцем по пергаменту. — Не спрашивай, что в зольнике. Никто не спрашивает. И последнее: комната на востоке, с окном к долине. Там ткацкий станок. Если будешь работать — работай.

— Станок? — Она припомнила запахи: домоткань, кетень, чья-то чужая нить. — Зачем у него станок?

Ильич посмотрел на неё так, что она, кажется, впервые за два дня увидела в этом старике живое чувство. Не жалость — осторожность.

— Ты что, жена, и правда не знаешь? — сказал он. — Он выбирал жен по одному признаку.

Дверь за его спиной закрылась, и в комнате стало тихо настолько, что было слышно, как дым за окном тянется из трещин скалы — медленно, ровно, как будто гора дышит.

Выбирал. По одному признаку. Вероника села на край постели и впервые за весь путь позволила себе подумать об этом вслух, без свидетелей:

Четыре жены. Все ткачихи. Ни одна не вернулась.

— Не по страсти, — сказала она тихо. — По ремеслу.

И почему-то от этой мысли стало не страшнее, а хуже. Страшно ещё можно было: от чудовища спасаются, от чудовища бегут. А от человека, который *выбирал* — от него, казалось, некуда.

• • •

В зал её привели через час.

Огонь в камне был погашен — по-настоящему, пеплом, и от этого зал казался ещё темнее, чем вчера. Стол у окна, два стула. На столе — его еда: миска, ложка, хлеб, разрезанный ровно пополам. И место напротив — со своим, целым, хлебом.

Он сидел, как вчера: руки на столе, глаза угли. Ел медленно и смотрел не на еду.

— Садись, — сказал он. — Здесь.

Она села. Половинка её хлеба лежала на левой стороне, и она не знала, что с этим делать: съесть половину — обидно, переложить — невежливо.

— Хлеб плохой, — сказал он. Голос ровный, не злой. Просто констатация. — У деревенских пекарей корка всегда кислая. Мать твоя просила, чтобы жарили дольше.

Вероника замерла.

Он не поднял глаз.

— Просила, — повторил он, всё так же глядя в миску. — И ткала плотно. И криво. Всегда криво, в левом углу. — Пауза. — Ты тоже в левом углу криво?

— Я не ткача учу, — сказала она. — Я жена.

— Здесь одно другим не мешает. — Он наконец посмотрел. Угли, в которых не догорело.
— Ешь.

Она ела. Хлеб действительно был кислый, и от этого было странно тепло: он помнил. Девять лет, а помнил, что её мать просила жарить хлеб дольше. Вероника проглотила и подумала: вот это и есть золотная клетка. Не цепи. Он просто *помнит*, и от этого тяжелее, чем от цепей.

За обедом случилось то, что она потом долго не могла себе простить.

Нити — они были везде, в зале, в камне, в дыму за окном, и они были *в нём*: чёрные, в узлах, и среди них, тонкая, как паутинка, белая. Сегодня белая нить дёрнулась — коротко, как палец, — и дёрнулась ещё раз, и Вероника, не помня, как, уже открыла рот. Не «белая». Не «он». Просто воздух, просто выдох, просто —

— Что? — спросил он. Не глядя.

— Ничего, — сказала она. — Хлеб. Кислый.

Ильич, дожидавшийся за дверью, вошёл как раз вовремя, чтобы она не сказала второго слова.

— Правила, — сказал он, глядя на неё в упор. — Я тебе их вчера не всё сказал. Вот что осталось. Первый: дым — он дышит. По утрам гора «выдыхает» и «вдыхает». Если ты выйдешь во двор в момент вдоха — не дыши. Не дыши, пока не отпустит. Второй: зольник приносишь, ставишь у огня и уходишь. Не трогай руками. Не нюхай. Третий... — он остановился, — ты знаешь: после заката не зови его имя.

— Почему? — спросила Вероника. — Что имя?

— Имя — первая нить, — сказал Ильич. — После заката огонь просыпается, и он знает всех по именам. Если ты назовёшь его — он придёт. Не к тебе. К огню. За тобой. Поняла?

Она кивнула. В животе у неё холодно легло, как камень.

— А если он сам? — спросила она. — Если он назовёт меня?

Ильич посмотрел на неё долгим-долгим взглядом, и в этом взгляде было столько, что ей захотелось, чтобы старик умер прямо сейчас.

— Он никогда не называет, — сказал старик. — Никогда. Ни одну. Ни разу за девять лет.

• • •

Вечером огонь зажгли.

Вероника стояла у окна и видела, как чёрное пламя разгорается в камне — медленно, по-человечески, как будто его разводят руками, и от этого было страшнее, чем от молнии.

Его звали Род. Мать называла — днём, в работе, когда слова были только словами. После заката не называл никто. Ни она. Ни он.

Род сидел у огня и смотрел в него, и нити его — она видела, не могла не видеть, — шли в пламя, и пламя *тянулось* к ним, и где-то глубоко в скале, под залом, под всем домом, что-то отозвалось.

Не гул. Хруст. Как будто кто-то очень большой повернулся во сне.

Она не дышала.

И тогда — она видела краем глаза, не отводила взгляда от пламени и видела — он *узнал*. Не её. Её дыхание. Как только она перестала дышать, нити его легли, и чёрное пламя на миг стало просто пеплом.

Он не повернулся.

Но сказал, не глядя:

— Дыши.

Она задышала.

— Не боишься? — спросил он.

— Боюсь, — сказала она.

Пауза. Пламя колыхнулось.

— Хорошо, — сказал он. — Честно. Это редкость.

Она ушла, не оглядываясь, и всю дорогу до своей комнаты держала спину прямой, потому что, если она сейчас сядет, у неё начнёт трястись всё: руки, колени, голос. Не от страха.

От того, что он сказал «хорошо».

Ночью она не спала. Не потому что не могла — потому что за стеной, в камне, в скале, снова гуляло, и с каждым ударом гула она всё отчетливее понимала, что это не горе. Это *боль*. Чья-то живая, настоящая, человеческая боль, и она не имеет права к ней прикасаться.

В три часа ночи, если на горе вообще есть три часа, она достала из-за пазухи иглу.

Чёрную, старую, с ушком, из которого когда-то был вымотан лён. Иглу матери. Та самая, которой её мать ткала на пике, в этом самом доме, девять лет назад, и умерла в этой деревне, не дождавшись своей части долга.

Игла была тёплой.

Ещё тёплой, как будто кто-то держал её в ладони минуту назад.

А потом — тихо, ровно, как стук челнока, — в доме, в камне, в скале, *где-то далеко от неё* что-то щёлкнуло.

Одно. Коротко.

Как будто гора услышала.

Глава 3. Чернота

(Род)

Боль приходит не как свет. Свет можно закрыть: рукой, ресницей, веком. Боль приходит как дым: в щели, под одежду, в лёгкие, и не спрашивает разрешения.

Он сидел в зале один. Огонь был погашен — он гасил его сам, каждое утро, руками, и пепел держался на них до самого обеда. На щеке, ниже губ, полоска стала длиннее: на два пальца, с тех пор как она приехала. Два пальца. Он считал. Считал всегда: ступени, дни, пальцы. Девять лет назад, на суде, он считал шаги палача, и ему тогда казалось, что это — единственное, что он контролирует.

Теперь он контролировал ещё и её.

Девять лет. Девять лет чёрного, и за девять лет он научился трём вещам: не смотреть на своё отражение, не есть горячее и не называть её имя.

Ася.

Он не произносил это слово даже в мысли — не потому что Ильич учил: «имя — первая нить», а потому что после заката огонь знает всех по именам, и он не хотел, чтобы огонь знал, что это имя — самое дорогое, что у него осталось.

Девять лет назад на суде ему сказали: «Дочь твоя в башне, жива, здорова, о ней позаботятся». Он поверил. Он должен был поверить: ему влили в вены зольную цепь — ту, что жжёт огонь изнутри, — и он лежал на решётке, и слышал, как в вышине, в башне, кто-то плачет, и плач был очень маленький, и он не знал, чей, но плач был *маленький*, и он сказал себе: это не она, её не бывает так мало, она громкая, она —

Белая нить.

Её нить не погасла. За девять лет она стала тоньше — в два пальца, в нитку, в паутинку, — но не погасла. И каждый раз, когда он думал, что, может, погасла, и ему становилось легче на миг, — она дёргалась. Коротко. Как палец.

И он знал: это не память. Память не дёргается.

• • •

Она была в зале, когда он проснулся от боли.

Не увидел — *почувствовал*. Огонь под кожей, этот тупой, въедливый жар, вдруг стал тише. Не пропал — тише. Как угли, которые накрыли. И он понял, что тише стало потому, что в зале кто-то стоит, и этот кто-то *держит* её дыхание. Не держит. *Отдаёт* ему своё, ровно, маленькими порциями, как будто кормит.

Он не повернулся.

Она стояла у окна. Молодая. Девушка. Дочь печальщицы, как в контракте. Ткачиха, как в контракте. Плотно и криво в левом углу — он видел это в ней, в нитях её, прежде чем увидел лицо, и ему стало больно от одного этого: криво в левом углу, как мать.

— Ты дышишь не так, — сказал он.

Она обернулась. Глаза — не глаза. *Свечение*. В глубине зрачков — что-то очень тихое, очень далёкое, как свет в окне чужого дома, и он узнал это. Он узнал это, как узнают запах пороха: слишком хорошо, слишком рано, слишком поздно.

— Ты огневид, — сказал он. — Тихо. Не оборачивайся. Я сказал: не оборачивайся.

Она не обернулась. Она стояла и дышала, и огонь под его кожей, этот чёрный, въедливый, девятилетний, — впервые за девять лет *успокоился*. Не умер. Успокоился. Как зверь, которому дали воды.

И в этот момент, в этой тишине, он понял, что она — пятая.

Пятая ткачиха. Пятая жена. Четыре до неё. Три умели ткать, и одна из трёх — так, что чёрное отступало, и он помнил её руки, помнил, как нити её шли в пламя, и помнил, как она

ушла в ночь, и он *пустил*. Потому что в ту ночь он понял, что огонь заберёт. Что зольная цепь — не приговор ему одному. Что в конце, когда чёрное выест всё, что можно, — оно возьмёт ближайшую. Самую близкую нить. Белую.

И он пустил её.

А потом деревня послала четвёртую. Та не умела ткать. Он понял это за одну ночь — по рукам, по нитям, по тому, как она спала, — и просидел с ней два года, и не говорил, и не трогал, и каждое утро гасил огонь, и она ушла, когда захотела, и он сказал: «Уходи. Я не держу». И она ушла. И он не понимал до вчера, зачем он это сказал.

А вчера, в три часа ночи, он услышал, как в восточной комнате кто-то щёлкнул иглой.

Материной иглой. Той самой. Чёрной, с вымотанным ушком.

Она приехала с иглой. С иглой, которая тёплая, как ладонь. С иглой, которая *знает*, что делать.

— Илья, — сказал он, не открывая глаз.

— Слышу, господин.

— Четыре. Сколько из них умели?

Пауза. Длинная.

— Три.

— И что они видели?

— Всё, господин. Огневиды видят всё. Нити, пламя, конец. — Старик помолчал. — Третья видела. И ушла.

— Я знаю, что она ушла. — Он открыл глаза. В зале было темно. Огонь был погашен. Вероника стояла у окна и смотрела на дым. — Я спрашиваю: что она *увидела*?

— Я не знаю, господин. Она не сказала. Она — ни одна — не сказала.

Он кивнул. Медленно. Как человек, которому подтвердили то, что он знал, но не хотел.

— Не буди её, — сказал он. — Не говори ей, что я знаю. Не зови её имя после заката — ни ты, ни она. И, Илья: если она начнёт ткать по ночам — не мешай.

Старик замешкался.

— Господин...

— Не мешай. — Он сказал это так, что старик не спросил, почему. — Я девять лет гасил огонь сам. Я устал.

Ильич вышел. Дверь закрылась. И он остался один с тем, что было в нём: с чёрным, с болью, с двумя пальцами на щеке, с девятью годами и с одной белой нитью, которая дёрнулась в третий раз.

Коротко. Как палец.

Он не посмотрел в окно. Не нужно было. Он знал: Вероника стоит там, у окна, и смотрит на дым, и дышит ровно, маленькими порциями, и её огонь — тихий, далёкий, чужой — держит его чёрное, как держат свечу от ветра.

Он не поблагодарил.

Он никогда не благодарил — ни суд, ни деревню, ни Ильича, ни её мать, которая ткала криво в левом углу и умерла в деревне, и ни Асю, которая, может быть, давно не жива, и он не знал.

Но в эту ночь, сидя в погашенном зале с пеплом на руках, он понял, что это уже началось. Что кто-то впервые за девять лет держит его огонь.

И он — он, который гасил его сам, который считал пальцы и ступени, который девять лет не называл имя, — он впервые за девять лет *хотел*, чтобы она не уходила.

Не потому что не пускает.

Потому что не должен.

Глава 4. Печальница

На следующий день гора вдохнула, и Вероника выучила правило.

Она стояла во дворе — её привели показать двор, «чтобы знала, где что», — и дым хлынул из трещин скалы, густой, без запаха, и лёг ей на плечи, как чья-то тяжёлая ладонь, и она перестала дышать. Не сразу: сначала вдохнула, и дым шёл в грудь, и стало плохо, так плохо, что коленки — а коленки её не слушались, — и она перестала дышать.

И дым остановился.

Не растаял. *Остановился*. Как вода у берега. И стоял так, на её плечах, на её затылке, в её волосах, — минуты две, может три, — и она считала, как он учит, как ступени, как пальцы, — и потом дым *выдохнул*. Ушёл. Тихо. Почти бережно.

А в скале, под ногами, что-то отозвалось. Одно. Коротко. Как щелчок.

Она сглотнула и пошла в дом.

— Ты не дышала, — сказал Ильич, когда она вошла. — Я видел.

— Я знала.

— Ты не знала. — Старик сказал это так, будто она сказала, что умеет летать. — Ты *почувствовала*. Дым не давит на всех. Он давит на тех, кого узнаёт.

— Кого он узнаёт? — спросила она.

— Огневидов, — сказал Ильич. — И тех, кто их носит.

Она не спросила, что это значит. Она шла в восточную комнату, к станицам, и у неё в голове была одна мысль: *он выбирал жен по одному признаку*, и этот признак — она, и он выбирал её не ради неё, а ради того, что у неё под кожей.

И почему-то от этой мысли ей стало легче.

Потому что если она — инструмент, то инструмент можно сломать, можно потерять, можно выбросить, но нельзя *забыть*. А её мать он не забыл: девять лет, а помнит, что хлеб жарили дольше. Значит, его память — это не клетка. Это просто он. И с этим, пожалуй, жить можно.

• • •

Станицы ждали.

Она села, навязала основу — тонкую, льняную, — и руки сами помнили: мать учила, с пяти лет, на кухне, над печкой, и пальцы её двигались, как чьи-то чужие, уверенные, и нить ложилась ровно, без «криво в левом углу».

Крутка на катушке была белая.

Она намотала на палец — живая, тёплая, как нить из чужого дома, — и не стала втягивать в основу. Отрезала кусочек, положила в карман, и села ткать дальше, и не понимала, зачем, и не могла остановиться, и ткала до вечера, и когда огонь в зале зажётся, она была так уставшая, что почти не чувствовала, как чёрное пламя тянется к её нитям.

Ели молча. Он сказал одно:

— Как умерла мать?

Она подняла глаза. Он смотрел в миску, как всегда.

— От долга, — сказала она. — Сделала свою часть и не дожила до своей.

— Чью часть?

— Свою. Она была печальницей. Здесь. — Она кивнула на скалу. — Девять лет назад.

Он не поднял глаз. Дожел миску. Положил ложку ровно.

— Значит, ты знаешь этот дом, — сказал он.

— Я знаю эту деревню. Дом — нет.

— А печь?

— Печь — да.

Пауза. Пламя колыхнулось.

— Печь, — повторил он. — И станок. И хлеб, который я жарил дольше, потому что ты просила. — Он поднял глаза. Угли. — Ты всё знала, жена. С первого дня. Ты просто не сказала.

— Я сказала, — сказала она. — На суде. Я сказала: «Я, дочь печальщицы, пришла платить долг».

— На суде, — сказал он. — Здесь ты не сказала.

— Здесь не было суда.

Он посмотрел на неё — долго, не моргая, как смотрят на того, кто сказал что-то очень хитрое и очень честное одновременно, — и сказал:

— Ешь.

И это было всё. Ни крика, ни угрозы, ни огня. Просто «ешь». И почему-то от этого было страшнее, чем от крика: он *принял*. Он принял её ложь как факт, как хлеб, как погоду, и это значит, что теперь он будет *помнить*. А он помнит.

• • •

Ночью начался приступ.

Вероника спала — не притворялась, правда спала, днём навалилась усталость такая, что глаза закрывались сами, — и проснулась от хруста.

Не того хруста, что был в первую ночь. Тот был в камне, в скале, далеко. Этот был *здесь*, в стене, в трёх шагах от кровати, и он шёл волнами, и с каждой волной трещина в камне ширилась, и в трещину сочился дым — чёрный, без запаха, густой, — и дым *тянулся*. Не к ней. К её рукам. К ладоням, свисающим с края постели.

И она поняла, что он не тянется.

Он *боится*.

Чёрный дым, который девять лет жрёт его изнутри, который выел полскалы, который, может, и на неё подождал, — этот дым отходил от её ладоней, как пёс от палки, и трещина в стене, через которую он сочился, *стенела*.

Её руки светились.

Тихо. Тонко. Как свеча за стеной. И нити — все нити в комнате, в камне, в дыму, — поднимались, одна за другой, и ложились ей в ладони, и она не плела. Она просто держала. Просто *держала*, как держат чашку горячего, и ладони её горели, не больно, ровно, по-матерински, — и дым отходил, и трещина стыла, и хруст в скале замедлялся, как дыхание спящего.

Она не помнила, когда открыла глаза.

Ладони не светились. На правой — маленький ожог, тонкий, как нить, белёсый, и в руке, сжатой кулаком, — игла. Материнская. Чёрная. С вымотанным ушком.

Она сидела в темноте и смотрела на ожог, и не могла понять, чего ей больше хочется: заплакать или засмеяться.

Утром, в зале, она поставила поднос, и Ильич, дожидавшийся за дверью, не вошёл сразу. Он стоял в дверях и смотрел на неё — на руки, на ладони, на то, как она держит спину, — и сказал, негромко, как будто боялся, что кто-то услышит:

— Огонь прошлой ночью утих. Впервые за шесть лет.

Вероника не ответила.

— Он не спрашивал, — продолжил старик. — Не спросил, что случилось. Он просто... — Ильич остановился. — Он просто гасил его сам. Девять лет. А вчера он *позволил*.

Она посмотрела на него. На старика с вышитой спиралью на груди. На человека, который здесь дольше, чем деревня.

— Скажи ему, — сказала она, — что я не умею его лечить.

— Я не скажу, — сказал Ильич. — Он и так знает.

И в этот момент, за столом, в зале, там, где сидел он, где он ел свой ровный хлеб и смотрел в миску, — там, где она не видела его глаз, — его рука, лежавшая на столе, медленно, на два пальца, *отступила* от края.

Не от еды.

От неё.

И это было, кажется, самое страшное, что он с ней делал. Не огонь. Не дым. Не «ты врёшь».

А то, что он *отступил*.

Потому что те, кто отступают, — те, кто уже решили, что она — не его.

Или те, кто уже решили, что она — *его*, и боятся.

А Вероника не знала, чего он хочет. И впервые за два дня это не было страшно.

Это было *честно*.

Глава 5. Четыре жены

(Род)

Утром он гасил огонь, как всегда, и впервые за девять лет не считал пепел.

Руки были в пепле до локтей — всегда были; с того самого утра, когда он вернулся с пика — с цепью в венах и с белым, живым, в нём. Но сегодня, когда он смотрел, как чёрное тлеет в кольцо, он думал не о нём. Он думал о девушке, которая вчера в три часа ночи, не просыпаясь, держала его огонь, и о том, что это — не первый раз.

Первый раз был девять лет назад.

• • •

Первая жена пришла с зимой.

Деревня прислала её с зерном и сценой: староста кланялся ниже, чем нужно, и не смотрел в глаза, а девчонка — как её звали, он не помнил; не важно — стояла позади и молчала, как стоят те, кого уже прогнали по всем правилам: молчи, не дыши, не смотри.

Она не умела ткать.

Он понял это за одну ночь — по рукам, по нитям, по тому, как она спала, сжавшись, как свёрнутый ковёр. Она была просто ткачихой: из тех, что мотают и челночат, а не плетут. Деревня не знала, что он хочет. Или знала и посчитала: пусть хоть какая.

Она продержалась год.

Год она носила его хлеб, его молоко, его полотенце, и он не говорил с ней больше пары слов в день, и она не спала — он слышал, как она сидит до рассвета, прижавшись лбом к стене, — и в последнюю ночь она спросила, когда он проходил мимо её двери. Он не помнил, зачем проходил. Он никогда не ходил мимо дверей.

— Он чудовище? — спросила она. — Тот, на горе.

Он остановился. За стеной, в камне, в скале, тихо тлело.

— Он человек, — сказал он. — Но огонь в нём живой.

Она молчала долго. Потом спросила:

— А он кусает?

— Нет. — Он сказал это быстро. Быстрее, чем думал. — Не кусает.

Наутро она ушла. Он не отправлял. Он просто не сказал «останься», и она ушла, и он стоял в зале, гасил огонь, и думал: вот, значит, так. Так они уходят. От страха. От тишины. От того, что здесь нет ничего человеческого.

• • •

Вторая умела.

Немного, по-домашнему, как шьют заплатки, — но нить у неё была живая, и по ночам, когда чёрное гуляло, она садилась у её стены и ткала, тихо, под нос, какие-то свои узелки, и гул становился тише. Не уходил — тише. Как чья-то чужая, далёкая буря.

Она писала письма. Маме. Каждую неделю. Он читал их, не зная зачем: мелкий, округлый почерк, «мам, я тут хорошо, хлеб не кислый, дым не дым, а так, дыхание, горочка моя, скучаю по тебе, пришли, пожалуйста, иголки».

Иголки. Ей были нужны иголки. Не спасение, не прощение, не конец света — иголки.

Когда пришло письмо с просьбой отпустить её — она просила не маме, а ему, на чистом листе, аккуратно, в три строки, — он отпустил. И запомнил, что это было самое лёгкое, что он делал за весь первый год.

Отпустить — легче, чем держать. Он проверил.

• • •

Третья пришла с тем, что он уже умел ждать: с нитью, с руками, с тем самым спокойствием, от которого у него поджималось что-то в груди, и всё.

Она ткала по-настоящему.

Первый месяц — тихо, как вторая. Второй месяц — громче, и чёрное в камне стало отступать, и он, который девять лет — нет, один год, — который с цепи не видел зала без чёрного, однажды утром выглянул в окно и увидел: дым был *серый*. Серый, как обычный дым, как дым из деревенских печей, и от него было тепло, и он стоял у окна и не дышал, и думал: вот, значит, так это. Вот, значит, можно.

Она продержалась год.

А потом была ночь.

Он проснулся от тишины. Не от боли — от тишины, от той, что бывает, когда в доме кто-то уже принял решение. И он увидел её: она стояла у его двери. Не уходила. Стояла. И смотрела на него так, как смотрят на того, кого любят, и кто обречён.

— Что забирает? — спросила она.

Не «что со мной будет». Не «откуда боль». Она спросила ровно то, что он боялся: что забирает.

Он мог соврать. Девять лет он соврал бы: ничего, пройдёт, ты просто устала. Но в ту ночь, в этой тишине, глядя на неё, он вдруг понял, что не может. Не перед ней. Она видела — он видел, как она видела: её нити были открыты, как ладони, и она видела его чёрное, и его белую, и то, что чёрное подходит к белой, — и он сказал:

— Ближайшего.

Она не спросила, кого. Она уже знала. Она видела.

На рассвете её не было. Он не отправлял. Он просто не закрыл ворота, и она ушла, и он стоял в пустом дворе, и дым был снова чёрный, и он понял две вещи.

Первую: она спасала себя. Он не имел права её винить.

Вторую: держать — значит убить. Держать её здесь, в этом доме, с этим огнём, — значит, когда чёрное придёт за белой, она будет рядом. И он понял, что зольная цепь, которую ему влили на суде, — «цепь забирает ближайшее должнику» — он девять лет понимал это как «заберёт его». Его жизнь. Его силу. Его всё.

А она, стоя у его двери, сказала это иначе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.